

Е.К. Созина

«МЕЖ ЧУВАШ, ТАТАР, МОРДВЫ...»: ВОСТОЧНАЯ РОССИЯ В КАЗАНСКОМ ЖУРНАЛЕ «ЗАВОЛЖСКИЙ МУРАВЕЙ»¹

В статье рассматриваются материалы журнала «Заволжский муравей», выходившего в Казани в 1832–1834 гг. и позиционировавшего себя как печатный орган Заволжского края или всей Восточной России. Наибольший интерес представляют материалы журнала фактуального свойства (этнографические, исторические, описательно-географические), в которых Казань и Казанская губерния представляли как евро-азиатский регион, находящийся на пограничье Европы и Азии, Запада и Востока. В публикациях «Заволжского муравья» выделяются три типа нарративов в соответствии с тремя группами народов Заволжского края, о которых писали авторы журнала.

Ключевые слова: полиэтничность, этнографические материалы, беллетристика, нарратив, восточный дискурс, травелоги.

Журнал «Заволжский муравей»² считается первым частным журналом литературно-художественной направленности в провинции, по крайней мере к востоку от Самары и Казани. Издавался он в Казани университетскими преподавателями – адъюнктом российской словесности М.С. Рыбушкиным (1792–1849) и адъюнктом латинской словесности М.В. Полиновским (1785 – после 1842). За 1832–1834 гг. вышло 74 книжки журнала. Программа журнала была отражена в редакционной статье издателей: «...решились мы... приступить к изданию журнала, назвав его: “Заволжский Муравей”, с тем намерением, что в нем преимущественно помещаемы будут статьи, к Заволжскому краю относящиеся. В сем случае, кажется, мы исполнили изложенное нами в программе обещание: всего пьес, принадлежащих к Восточной России, при содействии почтенных особ города Казани и Сибирского края, помещено более 25-ти, и ос-

¹ Статья выполнена в русле проекта РГНФ № 16-04-00118 «На границе литературы и факта: языки самоописания в периодической печати Урала и Северного Приуралья XIX – первой трети XX века».

² К истории журнала исследователи обращались неоднократно. См.: [1–4]. В книге [4] дан указатель содержания журнала, составленный Н.А. Егоровой. Реплика содержания с публикацией материалов журнала см. также: <http://libweb.kpfu.ru/z3950/lsl/muravey/rospis.htm> (дата обращения: 10.10.2016).

тается на будущее время таковых же... более пятнадцати» [5. 1832, № 23. С. 1359].

Понятно, что среди корреспондентов журнала и авторов статей были жители не только Казани и окрестных поселений, но и Перми (П. Размахнин, И. Свиязев, Р. Волков), Нижнего Новгорода (Н. Баталин, Д. Бабанин, М. Демидов), Пензы (Н. Филатов, Я. Евтропов), Уфы (В. Николаев), Троицка (П. Жданов), Тобольска (П. Словоцов), Иркутска (Б. Паршин), Красноярска (И. Петров), Елабуги (С. Годяев), Саратова (К. Лебедев) и др. Причем, по указанию В.В. Аристова, «из почти 70 известных нам авторов 45 (больше половины) были преподавателями, студентами или выпускниками Казанского университета...» [4. С. 8], хранившими верность своей *alma mater*. В структуре журнала выдерживались три достаточно традиционных для журналов того времени раздела: словесность, науки, нравы, в последнем предлагалось рассматривать «нравственные качества народов Заволжского края», их образ жизни, празднества, обычаи, быт и проч. [5. 1833. № 21]. В этом журнал был типологичен для отечественных изданий того времени. Но важно другое обстоятельство, выводящее «ЗМ»¹ за пределы чисто провинциального органа.

«ЗМ» создавался в столице края – Казани, которая осознала и позиционировала себя как в определенной мере оппозиционную Москве (Санкт-Петербург в материалах журнала фигурирует мало) и противопоставляла себя ей как центр Восточной России, составлявшей бóльшую половину империи. Иначе говоря, журнал высказывал своего рода претензию на гегемонию внутри провинции и выражал акт самосознания всей этой огромной территории, который Казань через интеллектуальные кадры университетской интеллигенции пыталась организовать и направить. Поэтому имперско-колониальный дискурс журнала, с одной стороны, обнаруживает сходство со столичным, московско-петербургским, а с другой – отличается от них степенью «густоты» имперскости и своеобразной гибриднойностью столичных и провинциальных черт, которые могут рассматриваться как некая особенность журнала, причем особенность позитивная, связанная с положением Казани.

Стоит выделить три фактора, определявшие понимание «своей» территории издателями и авторами «ЗМ». Это, во-первых, положение Заволжского края *между Европой и Азией, Европой и Востоком*; во-вторых, его *разноплеменное население* («меж чуваш, татар, морд-

¹ Здесь и далее «ЗМ» – «Заволжский муравей».

вы», как писал казанский поэт Ф. Рындовский); в-третьих, его *древняя и малоизученная история*, в частности история Булгарского царства, которой посвящали свои очерки и путевые заметки М. Рыбушкин, Н. Кафтанников, Ф. Эрдман и др.: древняя Булгария считалась (и до сих пор считается) казанцами и многими народами, живущими по течению Волги, своей прародиной. «...Университет Казанский в рассуждении местного положения своего находится как бы в *средоточии между Европою и Азией* (здесь и далее без специального указания курсив наш. – Е.С.) и составляющие округ его губернии населены *народами Востока...*» – писал М.С. Рыбушкин в одной из статей журнала [5. 1833, № 17 С. 962]. Вместе с тем он же отмечал: «...Казань почитается как бы *Сибирским уже городом*» [5. 1832. № 1. С. 35]. Равноудаленность и равноприближенность к Европе и Азии, по мнению ряда авторов, определяли преимущество этого места не только в настоящем, но и в истории. В очерке «Поездка в Болгары¹ и Билярск» все тот же Рыбушкин пишет: «История удостоверяет нас, что прежний город Болгар или Бряхимов, до самого построения Казани, был средоточием восточной торговли и главным меновым местом произведений *Европейских и Азиатских*, предметом корысти и ханов татарских, а может быть, и князей российских» [5. 1833. № 2. С. 87–88]. О том же говорил Н. Кафтанников: болгары – народ, «единоплеменный со славянами», «господствовал не только в *Азийских пределах*», но и по всей *Европе* [5. 1832. № 11. С. 603].

Для многих авторов журнала евроазиатскость Казани и, соответственно, всего Заволжского края позволяла снять «периферийность» города и региона, уйти от тривиальной уже в ту пору оппозиции «столица – провинция». Тем более что большинство из них, обращаясь к сопоставлению своей малой или большой родины со столицей, неизменно принимали сторону родного, пусть не такого великого и знатного. Рассказывая о поездке в Москву, А.А. Фукс, жена профессора К.Ф. Фукса, известная в Казани своей литературной и обще-

¹ Сегодня принято написание исторических названий *Волжская Булгария*, *Булгарское царство*, а также наименования древнего народа *булгары* через *у*. В печати позапрошлого века чаще всего эти слова писались через *о*. В частности, в «ЗМ» была принята именно эта форма. Поэтому в своем тексте мы следуем сегодняшней историко-орфографической норме, сохраняя в цитатах оригинальное написание. Наименования народов и пр., писавшиеся в то время как имена собственные (Чуваши, Татары, Русские и др., а также их словоформы), унифицируем в соответствии с современными орфографическими нормами, если они не несут семантической нагрузки.

ственной активностью¹, выражала точку зрения многих: Москва замечательна и прекрасна, но жить в ней невозможно – все узко, все искусственно, ненатурально [5. 1833. № 15. С. 813–832]. Отсюда парадоксальное на первый взгляд смещение в публикациях журнала *сибирского* и *восточного* дискурсов, определявшее его программные стратегии. В пределах данной статьи рассматривается преимущественно восточный дискурс «ЗМ», развернутый в сторону отражения в нем разнородного состава населения края.

Следует также сказать еще об одном обстоятельстве, определяющем наш ракурс анализа темы. Предшествующие исследователи, писавшие о «ЗМ», с достаточной полнотой раскрыли содержание его основных разделов, особое внимание обращалось на собственно литературные сочинения (словесность). Как справедливо писал В.В. Аристов, «можно даже сказать, что в “Заволжском муравье” в зародыше были представлены все те жанры, из которых спустя несколько десятилетий будут состоять толстые русские журналы» [4. С. 6]. Но, пожалуй, именно этнографическая и историко-географическая составляющие «Муравья» проявляют его истинное своеобразие и значение в истории не только отечественной журналистики, но и в становлении отечественного народознания, стремившегося охватить многочисленные народы империи, а также в процессе формирования и развития русской прозы нового направления, сложившегося уже в 1840-е гг.. Стихи и проза как таковая (беллетристика), публиковавшиеся в журнале, мало чем отличались от массовой словесности, заполнявшей столличные издания, чаще всего они были подражательны и в художественном отношении малооригинальны, малопродуктивны². В силу этого наибольший интерес для нас в рамках данного исследования представляют не художественные сочинения авторов

¹ А.А. Фукс известна историкам литературы своим знакомством и даже перепиской с А.С. Пушкиным. Она была держательницей в Казани литературного салона и немало сделала для развития культуры в городе и его окрестностях, активно позиционировала свой край в печати и была постоянной сотрудницей «ЗМ». См. о ней: [6, 7].

² Исключения, конечно, есть, в журнале печатались и талантливые авторы, пусть не первого ряда. Это, например, стихотворения В.Т. Феонина – пермского учителя, поэта, публиковавшиеся в журнале без фамилии автора, казанцев Ф.М. Рындовского, Л.Н. Ибрагимова и некоторые чисто экземплярные стихотворные произведения других авторов. Среди прозаических сочинений выделяются «Записки скопидома» А.А. Гундорова и башкирская повесть Н.Н. Кафтанникова «Араслан-баш» фольклорно-этнографической направленности, но скорее – на фоне остальных материалов журнала. Обзор словесности «Муравья» приведен в статьях В.В. Аристовой [3, 4].

журнала, а разножанровые материалы, позволяющие реконструировать портрет края в «зеркале» журнального дискурса.

Напомним, что Казанская губерния реально представляла собой многонациональный, полиэтнический регион – как и все Поволжье, как Урал и Сибирь. Проблема взаимоотношений с коренными народами края стояла подчас весьма остро, поскольку русские выступали здесь по большей части пришлыми, чужими, хотя уже обжившимися, обладавшими более высокой степенью адаптации и способности к освоению новых земель. Отсюда в составе разнородных материалов, публиковавшихся на страницах «ЗМ», можно выделить три вида нарративов в соответствии с тремя группами народов, изображавшихся в этих текстах. Первый – это «*киргиз-кайсацкий*» дискурс – о степных народах соседней Оренбургской губернии и Сибири (также причисляемой «Заволжским муравьем» к «своей» территории), исповедовавших иную веру, наименее подверженных культуризации и обрусению, а потому наиболее чуждых для их русских соседей¹.

Именно такой взгляд был характерен для очерка Владимира Веселли «Сатовка в Омске», изображающего картину киргиз-кайсацкой степи и ее кочующих жителей (в этом плане сей незатейливый автор может рассматриваться как предшественник и современник В.И. Даля, в 1830-е гг. вошедшего в литературу именно киргиз-кайсацкой и башкирской темой, актуальной для него во время службы в Оренбуржье, хотя пафос произведений Даля был совсем иным, нежели в публикациях «ЗМ»). Киргизцы, «дети праздности», покидают у Веселли *оскудевающую* с наступлением осени степь и отправляются «к пределам *богатой и запасной* Сибири» [5. 1832. № 19. С. 1051]. Внимание рассказчика сосредоточивается на «толпе», остановившейся на берегу Иртыша напротив Омска в предвкушении «сатовки» (дословно «мена», т. е. ярмарка). «Зрелище совершенных противоположностей представилось тогда на двух берегах знаменитой реки. На одном красивый, с правильной крепостью город, не великолепный, но во многих строениях являющий вкус образованный». На бульваре «гуляли дамы, одетые со всею прихотью

¹ Сюда же следует отнести очерки о сибирских народах, например: «Бродящие народы Туруханского края» и «О ламах, кочующих в Забайкальском краю бурят шимегонианского исповедания и о догматах их веры» полковника А. Маслова и др. В них представлены народы, совсем чуждые и далекие от Казани и локального, конкретно Заволжского, края, видимо, поэтому эти материалы носят более обобщенный и чисто описательный характер. В пределах данной статьи мы их касаться не будем.

и вкусом петербургской моды, блистали аксельбанты и эполеты на военных офицерах и мелькали щегольские фраки. <...> Одним словом, это было олицетворение европейской образованности» [5. 1832. № 19. С. 1052]. «Посмотрим теперь на другой берег, – назидательно продолжает автор. – Там киргизцы, вода кружками по земле, вокруг разложенных огней, неопратно пировали, передавая из рук в руки чаши кумыза. Мохнатая яга (верхнее платье), кожаные чембары (род сапог), остроконечные шапки с перьями, весь этот наряд, с открытой загорелой грудью, увеличивал грубость смуглых, часто безобразных их лиц, являл в них представителей *невежественных племен*» [5. 1832. № 19. С. 1053]. Таким образом, картинка, взятая, что называется, с натуры, оказывается вставленной в оправу чисто колониального дискурса, который ее определяет и задает расстановку акцентов.

Во многом схоже рисовались представители кочевых степных народов в очерках Ф. Эрдмана (профессор восточных языков в Казанском университете) и М. Сабанщикова¹. Остановимся, в частности, на последнем авторе. Очерк Сабанщикова «Елтонское озеро» [5. 1832. № 9. С. 491–504] имеет главным образом информативный характер, в нем с добросовестностью исследователя-колониста описываются природные условия соленых озер, в частности Елтонского озера, распространенных на степном юге и когда-то принадлежавших «кочующим народам», а теперь ставших достоянием России, и возможности заведения на озерах соляного производства. Вопрос о промышленной, а не только торговой эксплуатации азиатского юга России в отечественной печати будет актуализирован в массовом порядке несколько позже – примерно с конца 40-х и в 50-е гг., немалую лепту в его обсуждение внесут публикации П.И. Небольсина, В.В. Григорьева и др. Материалы «ЗМ» и здесь могут считаться своего рода «первыми ласточками».

Второй очерк Сабанщикова «Рын-пески» [5. 1832. № 12. С. 660–678] более многослоен. Он открывается попыткой целостного охвата и описания территории – как азиатской, первобытной, т. е. практически не тронутой присутствием человека, однообразной, а потому вызывающей в сознании рассказчика «неизъяснимое уныние». Огромность пустых пространств подавляет человека, не являющегося уроженцем этих мест, и он хватается за спасительные воспоминания

¹ В указателе казанских исследователей и библиографов он именуется «исследователем Саратовского края», иных сведений не приводится. См.: [8. С. 53].

и контрасты, успокаивая себя трюизмом цивилизации: «Какая противоположность, подумал я. Здесь степь пустынная и дикая, естественно поселяющая мрачные и печальные мысли... А там цветущие и многолюдные города, где беспрестанная деятельность оживляет все предметы...» [5. 1832. № 12. С. 660]. Внедряясь в степь, рассказчик со спутниками достигает жилища хана Киргиз-Кайсацкой Малой орды Джангера Букеева, чьи кочевья располагались в просторах Рын-песков. И здесь в дискурс Сабанщикова входит тема степного народа – одного из многих, населяющих Восточную Россию. Вопреки своим ожиданиям и распространенному представлению о «киргизцах», которому следует, например, В. Вессели (см. выше), автор-рассказчик в очерке Сабанщикова описывает хана Джангера и его домочадцев как людей вполне культурных, образованных и милых, т. е. цивилизованных, – именно этот критерий выступает как основной в подтексте всех рассказов путешественников о встречах с «инородцами». Рассказчика поражает причудливая архитектура дома, чистота и опрятность быта, но главное – «несмотря на то, что мы вообще привыкли представлять себе сих народов безобразными и свирепыми, сей киргизец имел нечто особенное: густая, черная и небольшая борода украшала круглое и белое лицо, на коем изображались *кротость и добросердечие*» [5. 1832. № 12. С. 664]. Те же качества он отмечает как центральные у самого хана и ханши: «Ханьша приняла нас с *удивительной любезностью*. Ее белое, нежное и выразительное лицо, на коем оттенялись *кротость и добродушие* и многие другие приятности, внушающие вдруг и уважение и особенную привязанность, стройный и гибкий стан, развязность и ловкость во всех движениях заставили нас забыть, что мы находимся в далеких от столиц степях, тем более, что Ханьша говорит на немецком и французском языках и искусно играет на фортепьяно» [5. 1832. № 12. С. 667]. Немалое восхищение рассказчика вызывают одежды и украшения хозяев – он отмечает их «пышную и ослепительную роскошь» [5. 1832. № 12. С. 669]. Тем самым соединяется, казалось бы, несоединимое – восточный быт и европейский стиль если не жизни, то поведения правителя казахской орды и его семейства¹.

¹ О хане Джангире (у Сабанщикова – Джангер, искаж.) в журнале писали не один раз. Заметка «Учтивость киргизского хана» рассказывает о визите его к профессору Фуку в Казани (по дороге в родную орду из Москвы, где «мирной», дружественный русским хан присутствовал на коронации императора Николая) и об обмене профессора и хана любезностями [5. 1832. № 13. С. 732–736].

Сравнение со «своим» не оставляет рассказчика – праздник «Байран» (искаж. Байрам или Курбан-байрам), важный для исповедующих ислам «киргизцев», он сопоставляет с православной Св. Троицей; все национальные забавы народа вызывают у него чувство тревоги: борьбу он описывает как «сколько ужасную, столько и опасную для жизни» [5. 1832. № 12. С. 675]. В итоге все увиденное подвигает его к заключению: «Народ киргизский, чуждый всякого гражданского благоустройства, не привыкший к постоянной жизни и поставляющий свободу и независимость выше всякого блага, имеет склонность к неповиновению и возмущается при каждом удобном случае» [5. 1832. № 12. С. 677]. Для укрощения «мятежного духа киргизцев», полагает автор, кордоны и линии Уральского казачьего войска настоятельно необходимы, и можно лишь надеяться, что «при нынешнем управлении хана Джангера сей дикий и невежественный народ, восчувствовав благотворное влияние власти и цену гражданского порядка и устройства, скоро улучшит образ жизни своей и, соединяясь сердцем и душой с истинными сынами России, ревностно устремится к общей пользе для славы отечества и великого своего монарха» [5. 1832. № 12. С. 678]. Этот утопический призыв более всего характеризует позицию путешественника, пришедшего человека в данной земле, для которого все в ней чужое и которая, само собой разумеется, должна служить «общей пользе», лучше понимаемой русскими как более развитым народом.

Тем не менее то был «свой», близкий Восток, а отношение к Востоку дальнему со стороны массового как читателя, так и автора может быть подытожено строками из стихотворения М. Демидова «Восток», где дается своеобразный реестр восточных атрибутов:

Восток, Восток, как много дум:
Какие дивные картины!
Кизил – Ирмака, Ганга шум,
Гиммале грозные вершины,
И Индустан, приют богов,
И Коба – океан песков... [5. 1834. № 13. С. 262].

Вторая группа народов и, соответственно, второй тип нарративов – это «свой» другие, т. е. *народы Поволжья*, типическое восприятие которых жителями столицы от лица своего лирического героя, выехавшего «на отдых» и вполне терпимо относящегося к своему

инонациональному окружению, выразил Ф.М. Рындовский в «Отрывке из стихотворения: Путешествие и отдых»¹:

Отдохнем – ваш друг на месте
Меж чуваш, татар, мордвы.
Вестель вы, или не весте,
Эти люди каковы?
С кожи, с рожи не лихие,
Но ни дать, ни взять такие,
Как и в Питере у нас:
Ходят все и тут ногами,
Дело делают руками,
А для света – пара глаз [5. 1832. № 9. С. 499].

Наиболее репрезентативны здесь рассказ о путешествии к чувашам Александры Андреевны Фукс и ответные письма ее мужа Карла Федоровича Фукса, размещенные на страницах «ЗМ», а затем вышедшие отдельным изданием. Они претендуют на одно из первых (после ученых трудов академиков) научных описаний этого приволжского народа. Вместе с тем они несут в себе печать авторской субъективности, подчас открыто эмоциональны, изобилуют обращениями жены к мужу (и мужа к жене), в них есть и передача дорожных впечатлений, и небольшие воспоминания автора о родительской семье, так что в жанре свободных записок путешественника в них рождается этнографическая беллетристика, с середины века занимающая страницы многих российских журналов. С этой стороны мы и посмотрим на них, оставляя полновесный анализ их «травеложной» стратегии за пределами данной статьи.

А.А. Фукс (1805–1853) до замужества жила в доме своего отца в Чебоксарах, поэтому свою поездку туда, состоявшуюся, судя по датам, в октябре – ноябре 1833 г., она подала как путешествие на родину. Это не мешало ей воспринимать чувашей как некую диковинку, с подразумеваемым вопросом «Эти люди каковы?», но вместе с тем и добросовестно описывать их обычаи, быт, образ жизни, праздники, на которых ей довелось побывать.

Для позиции А. Фукс характерен своеобразный наивный этноцентризм (склонность «видеть других людей с точки зрения собст-

¹ По указанию А.М. Саяповой, это стихотворение, а также «К приятелю в столицу из деревни» («Благонамеренный», 1818) было написано поэтом «под впечатлением пребывания поэта в глухой провинции: в Тетюшах Казанской губернии, куда Рындовский был послан на службу...» [9. С. 81].

венных культурных категорий» [10. С. 80]), связанный с господством эволюционизма в воззрениях людей XIX в. и присущий практически всем авторам «ЗМ», как и других отечественных журналов того времени. Она хорошо относится к чувашам, с некоторыми из них даже дружна, но они для нее – «полудикари» и «дети природы»: «Когда я спросила чувашина: “Кто их Бог?” – “Не знай, мачка”. – “Где он?” – На небе, отвечал полудикарь» [5. 1834. № 2. С. 96]. «Нельзя чуваш назвать вовсе дикими, однако можно решительно сказать, что они дети природы...» [5. 1834. № 3. С. 157].

«...Ни одной минуты не проходит даром, и все стараюсь видеть своими глазами» [5. 1834. № 3. С. 156] – такова установка Александры Фукс, старающейся стать хорошим этнографом и вполне способной отследить то, что происходит не только вокруг, но и в ней самой. Поэтому, например, в ее тексте возможна такая фраза: «Я с любопытством рассматривала их головной убор...» [5. 1834. № 2. С. 101], и тут же следует перенос своей позиции, оцениваемой уже как качество, на целый чужой народ: «Странно, что чуваша, несмотря на их дикое состояние, не имеют подобного татарам любопытства. <...> ...даже ребятишки без удивления на меня смотрели. <...> Это знак, что у них нет врожденного любопытства» [5. 1834. № 3. С. 155]. Особых выводов за этим не следует, но характерен метод умозаключений автора. Положение о том, что чуваша – «дети природы», А. Фукс выводит из наблюдения их «добросердечия», подкрепляющего руссоистскую максиму об изначальной «доброте» человеческой природы: «...по их образу жизни следует заключить, что природа производит больше людей добрых, нежели злых, и что чувство добросердечия им врожденно. Редко найдешь между чувашами злого человека; они по сие время, как дети, не понимают, что такое добро и зло, порок и добродетель; они слепо следуют влечениям своего сердца, которое редко влечет их ко злу» [5. 1834, № 3. С. 157].

Однако эта же «природность», по мысли автора, способна породить и самый непосредственный аморализм «диких» «инородцев». Так, при описании черемисских¹ поминок, на которых ей довелось побывать, А. Фукс передает свой разговор с местными жителями о любви и супружестве. «Молодой черемисин» отпускает реплику – «разве нет другого, кроме мужа». «Вот дети природы, живущие на свободе», – следует комментарий рассказчицы [5. 1834. № 22.

¹ Черемисы – марийцы.

С. 467]. Само же описание поминок завершается кратким резюме: «Потом опять возвратились в амбарушку, и тут-то началось веселье: явились гусли, пузыри, гудок, начали пить и плясать, и бесновались до восхождения солнца. Я велела заложить коляску и отправилась домой» [5. 1834. № 22. С. 471]. Стараясь быть объективной, А. Фукс излагает подробности народного действа, которое она наблюдает и в котором пассивно даже участвует. Но как женщина, не принадлежащая к традиционной культуре, этнически иная и к тому же правоверная христианка, она не может принять образа мыслей и поведения черемисов, их своеобразного двоеверия, и, несмотря на всю сдержанность в выражении ею своих эмоций, отношение рассказчицы к слышимому и видимому проникает в ее дискурс и неминуемо сказывается на описании самих народных обрядов. Описывая чувашские или черемисские обрядовые действия, А. Фукс – как и ее муж К. Фукс при описании татарских праздников – не вникают в их смысл, находятся буквально на другой (по их мнению, более высокой) ступени цивилизации и культуры, они полностью отчуждены от своего «материала» и в силу этого не могут его понять и должным образом воссоздать.

Более удачным приближение писательницы к «полудикому» народу оказалось при записи ею религиозных и мифологических воззрений чувашей, а также при ответах на вопросы мужа о природных и социальных особенностях жизни народа, т. е. когда требовалось применить рациональное мышление и логику, без невозможного для нее внутреннего принятия чужой культуры и вживания в нее. Здесь А. Фукс, подобно многим, следует путем аналогии: она сравнивает чувашский быт с русским («Чуваши награждают своих дочерей лучше русских крестьян» [5. 1834. № 4. С. 211]), порой с татарским, а стремясь понять их религию и мифологию, проводит параллели с древними народами («...у них, как у греков, надо всем есть бог...» [5. 1834. № 4. С. 218]; «...они уверены, как египтяне, что мертвые имеют между собой сношение...» [5. 1834. № 4. С. 221]). И надо сказать, что метод этой рациональной аналогии срывает: А. Фукс удалось описать если не систему, то элементы языческих воззрений чувашей достаточно адекватно.

В целом же в оценке как А. Фукс, так и К. Фукса чувашаи получают целый ряд нелицеприятных характеристик и определений, многие из которых обнаруживаются в нарративах других авторов-путешественников при их знакомстве с так называемыми «иномрод-

цами». Самым неприятным качеством чаще всего оказывается их нечистоплотность и неопрятность. Непреодолимой для А. Фукс стала проблема языка, почему осталась закрыта и духовная культура народа. «Язык чувашский очень беден. <...> ...Народ необразованный, не имея отвлеченных идей, натурально не может иметь и названий оных». «...У сего народа не находится ничего похожего на литературу: ибо они не имеют ни букв, ни преданий исторических, но ограничиваются одними песенками, – большей частью, унылыми» [5. 1834. № 4. С. 357–362]. Характерно, что аналогичные претензии предъявлялись со стороны русских наблюдателей и просветителей XIX в. и к другим народностям России, в частности коми-зырянам и коми-пермякам. «Авторами очерков и статей о зырянах особо подчеркивались отсутствие отвлеченных понятий в языке последних, привязанность зыряннина к лексике конкретного чувственного жизнеописания, – пишет В.А. Лимерова. – <...> Для авторов записок зыряне несомненно являются народом, чья пуповина не отделилась от природы, и язык его дик, первобытен, природен» [11. С. 102, 104]. Эти особенности восприятия языка народа объясняются той же культурной, когнитивной дистанцией, что существовала между информантами и реципиентами, т.е., говоря иначе, позицией этноцентризма, отмеченной нами выше у А. Фукс. В этом отношении выделяется оценка Карлом Фуксом языка и поэзии соседей чувашей – татар: «Желательно было бы сблизить сии два языка (разумею татарский с русским) и ознакомить нас с татарской словесностью, которая, при столь особенном от прочих народов вкусе, дышащем восточной пышностью, имеет свои собственные красоты, почти не выразимые на других языках» [5. 1834. № 19. С. 192]. Понятно, что фольклор и литература татар развивались на мощном основании тюркского наследия, а красота и богатство восточной поэзии общеизвестны. Но следует иметь в виду и татарский колорит «Заволжского края как прежде населяемого народами татарского происхождения» [5. 1833. № 4. С. 230], что обуславливало повышенное внимание «ЗМ» к татарскому населению и его прошлому.

В конечном итоге и для А. Фукс, и для ее мужа наиболее ценными качествами народного характера оказываются доброта, кротость, смирение. И здесь Фуксы типологичны. В оценках Сабанчиковым киргиз-кайсаков как позитивные свойства также назывались их «кротость и добродушие». В описании А.П. Масловым «бродячих народов» Сибири хороши оказываются те «дикари», которые «крот-

ки и послушны» [5. 1833. № 9. С. 513]. Очевидно, что в данном случае следует говорить о патерналистском отношении авторов журнала к описываемым народам.

Тем не менее значение труда А. Фукс для развития знаний о внутренних народах России было достаточно велико и отмечалось современниками. Вместе с ответными письмами Карла Фукса ее эпистолярии создавали некое подобие диалога, в котором заглавная роль модератора принадлежала А. Фукс, а К. Фукс выступал в роли «теневого» проводника и идеолога. Кроме того, и сама А.А. Фукс в своих записках приводила тексты нескольких чувашских песен (на чувашском и русском языках), и в «ЗМ» публиковалась чувашская песня в переводе Д.Н. Ознобишина [5. 1833. № 21. С. 1204–1208], так что корреспонденты и сотрудники журнала выступили одними из первых собирателей фольклора этого народа.

Третья группа народов и третий тип нарративов относим к башкирам, которых казанцы рассматривали в числе «своих», но более дальних, нежели соседние чуваша или черемисы. Кроме ряда подражательных стихов А. Шляпникова, этому народу посвящены очерковая зарисовка П.Е. Размахнина «Картина башкирской жизни» и «башкирская повесть» Н.Н. Кафтанникова «Араслан-бабр».

В «Картине башкирской жизни» Размахнин¹ дает краткий эскиз жизни «башкирцев», привлекающий авторской заинтересованностью в своем предмете, эмоциональностью и поэтичностью ряда описаний наряду с их контрастностью. Причем контрастность вызвана как объективным течением жизни этого «полукочевого народа», так и различной степенью ее привлекательности для автора и читателя, т.е. ее возможной «литературности». Столь же контрастно использование автором разных типов дискурса – информативно-этнографического и поэтически-художественного.

В начале очерка дается довольно точная зарисовка образа жизни и быта народа, например: «Башкирские деревни построены без всякой симметрии; дома их (за исключением весьма немногих, принадлежащих богатым людям) делаются на скорую руку, довольно непрочны и весьма тесны...» [5. 1832. № 3. С. 156–157] и т. д. Как и другие авторы, описывавшие жизнь «иногородцев», Размахнин отмечает их нечистоплотность, особенно в зимнее время года. Но затем

¹ П.Е. Размахнин (1796–1834) учился в Казанском университете, затем преподавал русскую словесность в Оренбургском уездном училище, в Уфе и, наконец, с 1826 г. в Пермской мужской гимназии. Он достаточно часто посылал свои стихи в «ЗМ», все они были исполнены духа запоздалого сентиментализма и просветительства уходящей эпохи.

тональность его нарратива меняется: «Наступает прелестная весна, – наступают и удовольствия башкирцев: они оставляют свои зимовища и выходят на кочевье. В продолжение весны, лета и до глубокой осени башкирцы ведут жизнь приятную, веселую и мало заботятся о будущем» [5. 1832. № 3. С. 158]. В доказательство намечающейся пасторали автор дает «прелестнейшую картину» весенне-летнего кочевья башкир, которую он сам наблюдал по дороге из Оренбурга в Пермь. Картина живописна и направлена на пробуждение визуального воображения читателей, построена как единое синтаксическое целое: «Представьте себе высокие горы, покрытые густым лесом, зеленые и цветущие долины, шумящие ручьи или целые реки и обширные озера – и вы будете иметь понятие о местах, занимаемых в летнее время кочевьем башкирского народа; прибавьте к тому разбросанные в разных местах юрты, из которых выходит тонкий дым и расстилается по вершинам гор; многочисленные стада коз, овец, коров и табуны лошадей; их рев, ржанье и топот – и в воображении вашем составит картина, возбуждающая приятное мечтание о давних мирных временах и беззаботном хозяйстве патриархального века» [5. 1832. № 3. С. 159]. Таким образом, «патриархальный» народ «башкирцев» для автора – это своего рода зримая метафора ушедшего прошлого человечества, настоящее его неприятно и неопнятно, как жизнь кочевого племени зимой, но летом она позволяет предаться сладостным мечтаниям о возможности «золотого века». Наукообразный слог соответствует зимнему «настоящему» – и установке на достоверное познание чужого этноса, актуальной для времени автора-повествователя; поэтическая картина, призывающая к любованию ею, – ушедший, но еще длящийся в его сознании идеал, который не требует объяснений, его можно дать в той поэтике «живых картин», что была распространена в русской литературе XVIII – рубежа XIX в. и достигла расцвета в сентиментализме.

Повесть Н.Н. Кафтаникова¹ «Араслан-бабр» вторична, образом для нее явилась «башкирская повесть» Т.С. Беляева, оренбургского «грамотея», крепостного помещика Тимашева, написанная в 1809 г. и напечатанная в Казанской типографии в 1812 г. и в свою очередь, использующая мотивы башкирских легенд и преданий

¹ Н.Н. Кафтаников (1791–1841) также учился в Казанском университете, после окончания курса (1814) служил учителем в Оренбурге, в 1830-е гг. переселился в Казань, где занимался местной археологией, сотрудничал в «ЗМ».

(см. об этом [12. С. 46–52]). Кафтанников значительно облегчает историю любви юноши и девушки из двух башкирских родов, преодоления ими ряда препятствий и счастливого воссоединения, описанную Беляевым, опускает ряд сказочно-фантастических элементов, задающих повороты сюжета в «Куз-Курпаче». В целом его повесть сориентирована на более реалистическое изображение жизни башкирских племен, в ней много этнографии, хотя этнографические описания для автора не самоцель, он создает эпическое произведение, неспешно разворачивая картину жизни кочевого народа, расположившегося «на прекрасной, пленительной долине, окруженной высокими, живописными Рифейскими горами, близ обширного светлого озера Ареляш...» [5. 1833. № 1. С. 3]. Картина в принципе сходна с зарисовкой Размахнина, и об определенной идеальности ее для автора говорит фраза: «Все показывало довольство, беспечность и свободу» [5. 1833. № 1. С. 3]¹. Снижающий идеальный образ патриархального народа мотив – это не изменение авторского нарратива и не зимняя нечистоплотность башкир, как у Размахнина, но барымта, играющая важную роль в сюжете и в реальной жизни степных народов. Мстя похитителям невесты, Араслан с батырами рубят на куски не только своих непосредственных врагов, киргизских батыров, но и всех жителей аула, где была спрятана его невеста Зюлима.

Интересно, что в стихотворных и прозаических (художественных) произведениях, публикуемых в журнале, неприемлемые для русских авторов черты образа жизни и национального характера описываемых народов обычно не упоминались: это предписывал своего рода литературный этикет художественной системы русской литературы 1820–30-х гг., да еще в ее массовой провинциальной разновидности. Фактуальные тексты, независимо от их жанровой ориентации (записки путешественников, письма, статьи, очерки и пр.), оказывались в более свободном положении, и потому здесь прослеживается большая этнографическая точность и объективность, больший реализм в изображении края и его обитателей. Однако парадоксальным образом именно авторы фикциональных текстов проявляли и большую терпимость в отношении к своему-чужому, тогда как документальные нарративы чаще всего попадали

¹ Это представление о кочевой, а значит, свободной жизни башкир проходит и через другие тексты. В стихотворении А. Шляпникова «Отъезд из Башкирии» читаем: «Прощай разгульна степь Башкиров, / Прости Умирско кочевье; / Прости сотрудник мой Акиров, / Прости свободное житье» (сохранена орфография и пунктуация оригинала) [5. 1833. № 7. С. 386].

в зависимость от идеологических стереотипов и этноцентристских установок времени. Тем не менее фундамент для утверждения в литературе новой художественной стратегии создавала травеложно-этнографическая проза, поскольку она была более ориентирована на «натуру», на «действительность» (ведущий концепт натуральной школы 1840-х гг.). Описательные тексты в жанре статьи, очерка, картины, также принятые в печати того времени, компенсировались живостью и динамичностью путевых заметок и записок, где авторская субъективность полнее и ярче проявляла себя, куда могли включаться диалоги, сцены, дополнительные рассказчики и т.п., а само путешествие автора-рассказчика заменяло или имитировало разворачивание событийного сюжета. Именно это взаимодействие жанров и различных языков, которое совсем скоро в полном объеме развернется в русской литературе, мы наблюдаем в «восточно-русском» журнале «Заволжский муравей».

Литература

1. Пономарев П.А. Казанская периодическая пресса. «Заволжский муравей» // Казанский литературный сборник. 1878. Казань, 1878. С. 177–222.
2. Куранов К.Н. Особенности формирования жанров публицистики в казанской прессе первой трети XIX века // Жанры журналистики. Казань, 1972. С. 3–32.
3. Аристов В.В. «За труд мой не ишу себе похвал и славы...» // Аристов В., Ермолаева Н. Все началось с путеводителя...: поиски литературные и исторические. Казань, 1975. С. 43–72.
4. Аристов В. В. Журнал «Заволжский муравей» и его авторы // Казанская периодическая печать XIX – начала XX века: библиогр. указатели. Казань, 1991. С. 5–18.
5. *Заволжский муравей*: литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1832–1834.
6. Агафонов Б. Казанские поэты // Исторический вестник. 1900. Август. С. 586–598.
7. Бобров Е., А.А. Фукс и казанские литераторы 30–40-х годов // Русская старина. 1904. Июнь. С. 482–509; Июль – август – сентябрь. С. 5–35.
8. *Казанская периодическая печать XIX – начала XX века*: библиогр. указатели. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1991. 87 с.
9. Саяпова А.М. Журналы «Благонамеренный» и «Заволжский муравей» как источники изучения творчества казанского поэта Ф.М. Рындовского // Вопросы источниковедения русской литературы: межвуз. сб. науч. тр. Казань, 1989. С. 79–88.
10. Эриксен Т.Х. Что такое антропология? / пер. с англ. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 238 с.
11. Лимерова В.А. «Текст языка» в творчестве И.А. Куратова и его современников // Литература Урала: история и современность: сб. ст. Вып. 5: Национальные образы мира в региональной проекции / Ин-т истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург, 2010. С. 99–108.

12. Хуббетдинова Н.А. Художественное отражение фольклора в литературе XIX века: К проблеме русско-башкирских фольклорно-литературных взаимосвязей. Уфа: Гилем, 2011. 126 с.

«AMONGST THE CHUVASH, THE TATARS AND THE MORDOVIANS . . .»: EASTERN RUSSIA IN THE KAZAN MAGAZINE ZAVOLZHSKIY MURAVEY

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 108–125. DOI: 10.17223/24099554/7/7

Elena K. Sozina, Institute of History and Archaeology of the Ural Branch of RAS (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: elenasozina1@rambler.ru

Keywords: polyethnicity, ethnographic materials, fiction, narrative, oriental discourse, travelogues.

The paper is prepared within Project No. 16-04-00118 of the Russian Foundation for the Humanities “On the Border of Literature and Fact: Languages of Self-Description in the Periodical Press of the Urals and the Northern Cisurals of the 19th – the first third of the 20th centuries”.

The magazine *Zavolzhskiy muravey* [Trans-Volga Ant], which was issued in Kazan in 1832–1834, is examined in the article. The magazine was positioned as an official organ of the Trans-Volga District or Eastern Russia as a whole; it presented Kazan and Kazan Province as a Eurasian region situated on the border of Europe and Asia, East and West. The history of the region was examined in the magazine from this perspective: Volga Bulgaria was declared a homeland of the people who lived along the Volga River. An assertion of their originality was expressed in the repulsion from Moscow and in the constant accentuation of the multinational and multicultural nature of the region, whose eastern borders were not clearly outlined and stretched up to the Pacific Ocean. Factual ethnographic, historical and descriptive-geographical materials of the magazine are of greatest interest. The imperial-colonial discourse of the edition is developed in these materials: it has a number of specific features which are connected with the globalist pretensions of the magazine that united the eastern and Siberian topics. Three types of narratives are distinguished in the publications of *Zavolzhskiy muravey* in accordance with the three groups of peoples of the Trans-Volga region the magazine authors described. These types are: 1) the Kirghiz-Kaysak discourse about the steppe people of the neighboring Orenburg Province and Siberia (the authors of *Zavolzhskiy muravey* also considered these areas as part of the Trans-Volga region) who were mostly alien to their Russian neighbors; about Siberian peoples (e.g., “The Nomadic Peoples of Turukhanskiy Krai” by Colonel Maslov and others); 2) ethnographic materials about the closer peoples of the Volga region: the Chuvash, the Mari, the Tatars and the Mordovians which were often published together with oral folk art materials. A.A. Fuks’s collection of materials about her visit to the Chuvash is worth mentioning in this respect in which she aspired to show the most integral and precise image of the mode of life of the neighboring people and impressions of what she had seen; 3) the Bashkir discourse about the neighboring people in which “semi-fiction”, i.e. artistic-ethnographic, works are presented such as *The Image of Life of the Bashkir People* by P. Razmakhnin, a Bashkir-style story by N. Kaftannikov *Araslan-Babir* and others. Thus, the magazine stimulated the development of ethnographic fiction – a particular trend in the evolution of Russian literature of the middle and the second part of the 19th century. The paper shows that it is documentary narratives that depended on the ideological stereotypes

and ethnocentrist directives of that time more often than artistic texts that usually corresponded with the literary etiquette of the Russian literature of the 1820s–1830s.

References

1. Ponomarev, P.A. (1878) Kazanskaya periodicheskaya pressa. “Zavolzhskiy muravey” [Kazan periodic press. Zavolzhskiy Muravey (Trans-Volga Ant)]. In: *Kazanskiy literaturnyy sbornik. 1878* [Kazan literary collection. 1878]. Kazan: Tip. M. A. Gladyshevoy. pp. 177–222.
2. Kuranov, K.N. (1972) Osobennosti formirovaniya zhanrov publitsistiki v kazanskoj presse pervoy treti XIX veka [The peculiarities of forming of the journalistic genres in Kazan press of the first third of the 19th century]. In: Yudkevich, L.G. (ed.) *Zhany zhurnalistiki* [Genres of journalism]. Kazan: Kazan University.
3. Aristov, V.V. (1975) “Za trud moy ne ishchu sebe pokhval i slavy...” [“I’m not looking for praise and glory for my labour...”.]. In: Aristov, V. & Ermolaeva, N. *Vse nachalos’ s putevoditelya... poiski literaturnye i istoricheskie* [Everything began from the guidebook... the literary and historical searches]. Kazan: Kazan University.
4. Aristov, V.V. (1991) Zhurnal “Zavolzhskiy muravey” i ego avtory [The magazine Zavolzhskiy muravey and its authors]. In: Shishkin, V.I. (ed.) *Kazanskaya periodicheskaya pechat’ XIX – nachala XX veka: Bibliograficheskie ukazateli* [The Kazan periodical press of the 19th – early 20 centuries. Bibliographic indexes]. Kazan: Kazan University.
5. *Zavolzhskiy muravey*. (1832–1834).
6. Agafonov, B. (1900) Kazanskiiye poety [Poets of Kazan]. *Istoricheskiy vestnik*. August. pp. 586–598.
7. Russkaya starina. (1904) Bobrov, E., prof. A.A. Fuks i kazanskiiye literatorty 30–40-kh godov [Bobrov E., Prof. A.A. Fuks and Kazan literary men of the 1830s–1840s]. *Russkaya starina*. June. pp. 482–509; July–August–September. pp. 5–35.
8. Shishkin, V.I. (ed.) (1991) *Kazanskaya periodicheskaya pechat’ XIX – nachala XX veka: Bibliograficheskie ukazateli* [The Kazan periodical press of the 19th – early 20 centuries. Bibliographic indexes]. Kazan: Kazan University.
9. Sayapova, A.M. (1989) Zhurnaly “Blagonamernennyy” i “Zavolzhskiy muravey” kak istochniki izucheniya tvorchestva kazanskogo poeta F.M. Ryndovskogo [Blagonamernyy and Zavolzhskiy Muravey magazines as sources of study of the works of Kazan poet F.M. Ryndovskiy]. In: *Voprosy istochnikovedeniya russkoy literatury* [Problems of source study of Russian literature]. Kazan: Kazan State Pedagogical Institute.
10. Ericksen, T.H. (2014) *Chto takoe antropologiya?* [What is anthropology?]. Translated from English. Moscow: Higher School of Economics.
11. Limerova, V.A. (2010) “Tekst yazyka” v tvorchestve I.A. Kuratova i ego sovremennikov [“Text of the language” in the works of I.A. Kurchatov and his contemporaries]. In: *Literatura Urala: istoriya i sovremennost’* [The Urals literature: history and modernity]. Vol. 5. Ekaterinburg: Ural State University. pp. 99–108.
12. Khubbetdinova, N.A. (2011) *Khudozhestvennoe otrazhenie fol’klora v literature XIX veka. K probleme rusko-bashkirskikh fol’klorno-literaturnykh vzaimosvyazey* [The artistic reflection of the folklore in the literature of the 19th century. The problem of Russian-Bashkir folklore-literary interconnections]. Ufa: Gilem.